

рассказы

КНИГА ЗА КНИГОЙ

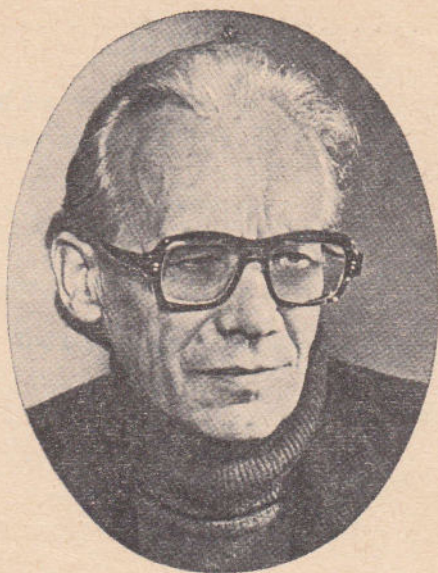


Лев Кузьмин  
ЛЮБОВЬ  
НИКОЛАЕВНА

Издательство  
„Детская литература“

May

КНИГА ЗА КНИГОЙ



ЛЕВ КУЗЬМИН

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

*Рассказы*

Москва  
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1987

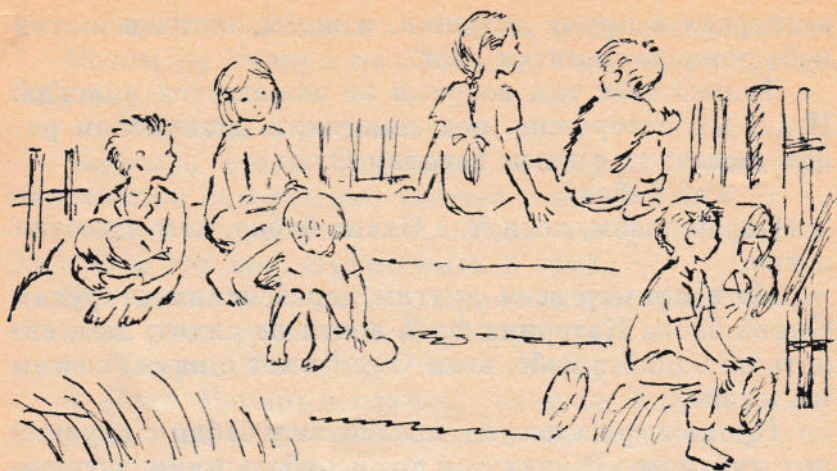


P2  
K89

*Рисунки Н. Горячёвой*

К  $\frac{4803010102-059}{M101(03)87}$  269-87

© Иллюстрации.  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1987 г



### СВЕТЛЯЧОК НА ЛАДОШКЕ

В детстве меня часто и надолго отправляли в деревню к родственникам. Деревня стояла почти в лесу, но место было высокое, ничуть не глухое, — жилось здесь мне и моим друзьям-ребятишкам очень славно.

Особенно мы любили вечера.

Бывало, и коров, и овец давно пригонят, и пыль на белеющей в сумерках дороге уляжется, в окнах зажгутся лампы, а нам по своим домам расходиться всё ещё неохота.

Набегались мы вдосталь. Ноги, руки наши ноют от усталости. Мячик для игры в лапту на тёмной траве давным-давно не разглядеть, да и старшие начинают из раскрытых окон покрикивать: «Лё-ёнька! Шурка! Ужин сто раз собирать не будем!», а мы всё равно не спешим.

Мы сидим под берёзами рядом с круто ныряющей тут под гору дорогой, у самой крайней избы. Над нами возятся в застрехе воробьи. Мы слышим их полусонное попискивание, слушаем, как уркают на



задворках в пруду лягушки, и ждём, когда и в этой избе тоже затеплится свет.

Только свет там вовремя не зажигается никогда. И вот мы осторожно, под локоток, подталкиваем рядом сидящую с нами девочку Олю:

— Где бабка?

Спрашиваем, хотя, где Олина бабка, нам известно и так.

Не в пример всем другим деревенским старухам Олина бабка Катерина дома почти не сидит, да и сидеть ей одной в избе, пока Оля бегаёт с нами, совсем ни к чему.

Кроме кур да петуха, хозяйства у бабки с внучкой нет никакого. Живут они теми небольшими деньжатами, что присылают по почте из дальнего и неизвестного нам города Мурманска Олины родители, сажают ещё лук да картошку, но и с огородцем у бабки хлопоты тоже невеликие.

Она шибко старая, бабка-то Катерина. Старая-престарая и очень любит поговорить. Длинные речи-беседы затекает она с каждым встречным и поперечным. За этим и ходит весь день по деревне; за это подруги старухи обзывают её заглазно «Ляпой», а вот нам, как только бабка явится домой да как только начнёт «ляпать» с нами, так иного лучшего удовольствия, пожалуй, и не придумать.

Для того мы тут и сидим в сумерках, для того нам и надо, чтобы свет в избе под берёзами зажёгся быстрее, а зажечь его должна Оля.

Но Оля старше всех нас, ей полных десять, и командовать Олей мы не решаемся.

Мы лишь вот так вот деликатно, тихим вопросом намекаем:

— Где бабка?

И Оля не важничает.

Оля поднимается с брёвнышка, очень решительно говорит:

— Бабку и в самом деле пора зазывать домой! Ну что ж, тогда побежали...



И вот со стуком, бряком, топотанием босых пяток мы взлетаем по расшатанным ступенькам на высокое крыльцо бабкиной избы. Мы проскакиваем гулкие, как сарай, сени, вваливаемся в избыной полумрак, и вот там начинается ещё одно для всех нас желанное действие — зажигание Олей висящей на крючке под потолком керосиновой лампы.

Действие это чудесно потому, что нам дома зажигать лампу не дают. Дома нам за одну лишь такую попытку влетает сразу и крепко, а здесь Оля совсем по-хозяйски выкладывает перед нами на строганую столешницу спички, придвигает к столу табурет и смело вспрыгивает на его крышку.

Более того, когда Оля дотягивается до лампы и снимает блескучее в полутьме стекло, то каждый раз оттуда сверху оглядывает все наши насторожённые физиономии, смотрит на все наши поднятые и готовно растопыренные ладошки, вслушивается в наше напряжённое сопение и каждый раз говорит:

— Держи, Лёнь...

А «Лёнь» — это значит я.

А «Лёнь» — это значит, Олин выбор опять и опять пал на меня!

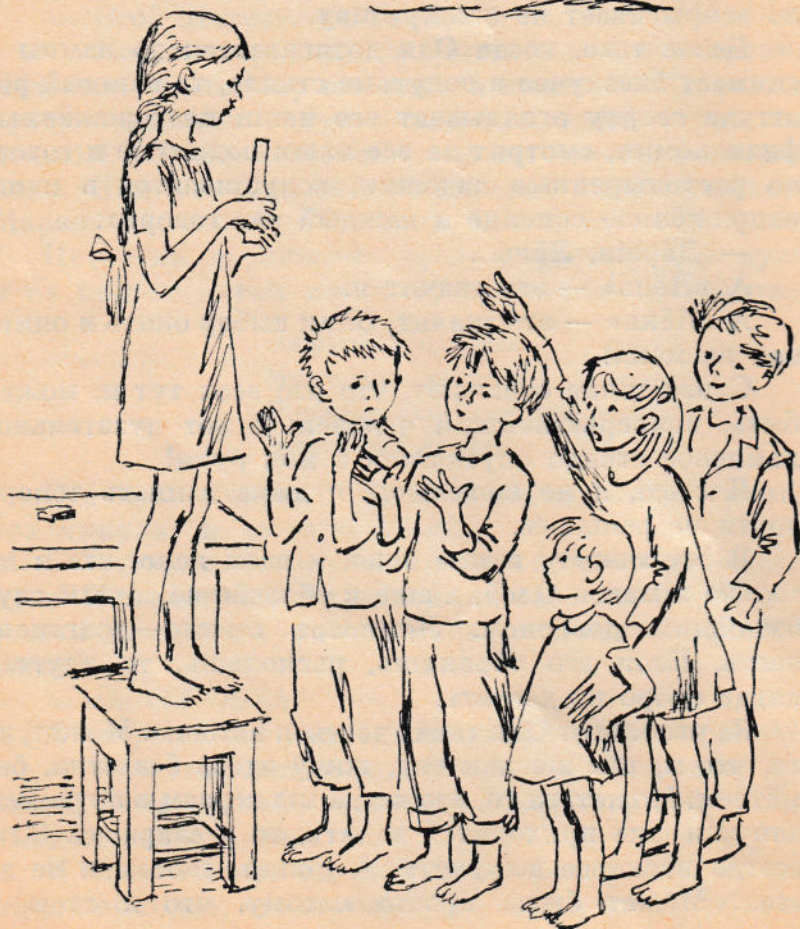
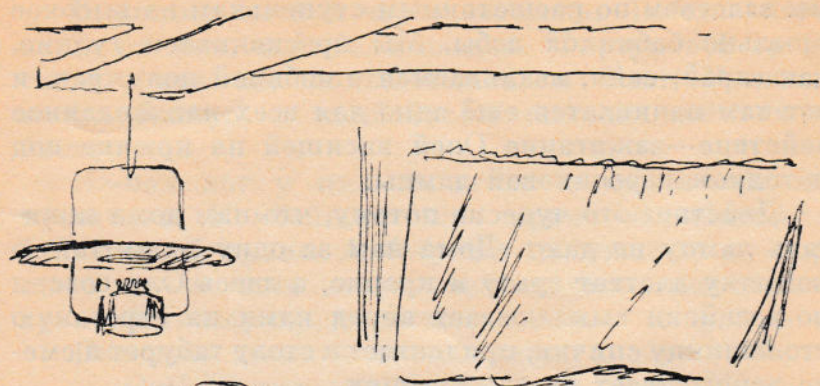
Слова такие означают, что изо всех тут я, может быть, наисерьёзнейший человек: и вот пузатенькое ламповое стекло опускается в мои руки!

Я стою, я не шевелюсь, я даже дышать теперь почти не решаюсь.

В эту минуту и мне ясно, и всем ясно, что я не только замечен Олей, а ещё и облечён её самым глубочайшим доверием. Ламповое стекло — драгоценность. Если его обронишь, расколешь, то другого нигде скоро не достать.

За что мне от Оли такая честь, я не знаю. Может, за то, что я, так же как она, живу здесь без отца, без матери. Может, за то, что когда мы играем в круговую лапту и Оле приходится водить, то я стараюсь Олю всегда поскорее выручить. А может, совсем и не за это... Может быть, просто потому, что я стою у







табурета всегда ближе всех. Но всё равно я очень горд, тем более что Оля каждый раз ещё и говорит:

— Теперь, Лёнь, спички подавай.— Впрочем, она тут же и поправляется: — Ой, у тебя руки заняты... У тебя стекло. Тогда пускай Шурик...

А Шурик — это мой всегдашний во всём соревнователь. Мы с ним ровесники, нам обоим по восемь лет, мы даже и ростом с ним совсем одинаковые. Но при этом он — толстенький, не такой, как я, расторопный и никогда не успевает занять лучшее место у табурета. Шурик лишь теперь оказывается первым, цапает коробок со стола всей горстью и, запыхтев победно, встаёт на цыпочки, тянется кверху.

Оля чиркает спичку, согнутая Олина ладошка от мгновенной вспышки становится розовой.

Потом огонёк опускается на горелку лампы.

Оля принимает от меня стекло, и вся бабки Катеринина изба с её коричневыми от древности, гладкими стенами, с белёной печкой, с бумажными вырезными занавесками, с горшками цветов на окошках озаряется жёлтым мягким светом.

Мы тоже улыбаемся светло. Даже Шурик смотрит поласковей в мою сторону, а Оля спрыгивает вниз, бесшумно и легко мчится к печке.

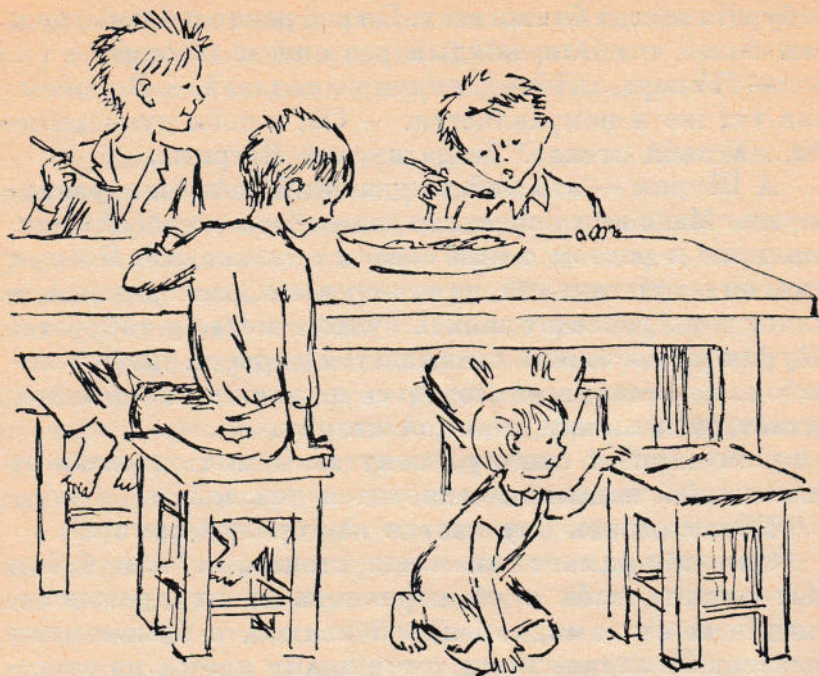
И вот на столе сковорода с тёплой картошкой, и опять в избе только стук да звяк, так мы стараемся, работаем вилками, убираем угощение наперегонки.

А тут за стеною на лестнице торопливо запостукивает и бабки Катеринина клюшка. Сама бабка ещё в сенях, ещё нашаривает дверную скобу, а уже заводит ласковым-преласковым голосом:

— Слете-елись, голуби мои, слете-елись... Олюшка-умница лампу вздула... А я уж хожу, хожу по деревне, всё думаю: «Где вы? Неужто под гору в Митькинице убежали да и заплутали там?» Ан нет, смотрю, и в моём доме огонёк загорелся — значит, сбежались, милушки мои, ко мне в избу, значит, все тут...

Большая, широколицая, в просторной тёмной кофте, в тёмном платке, она переваливает через порог и





совсем не по-домашнему, а словно заходящая гостья, грузно усаживается на конец лавки у самой двери. И, отдышавшись и навалясь на клюшку, приятно моргая маленькими, всегда словно только что умытыми карими глазками, оглядывает, пересчитывает всю нашу компанию:

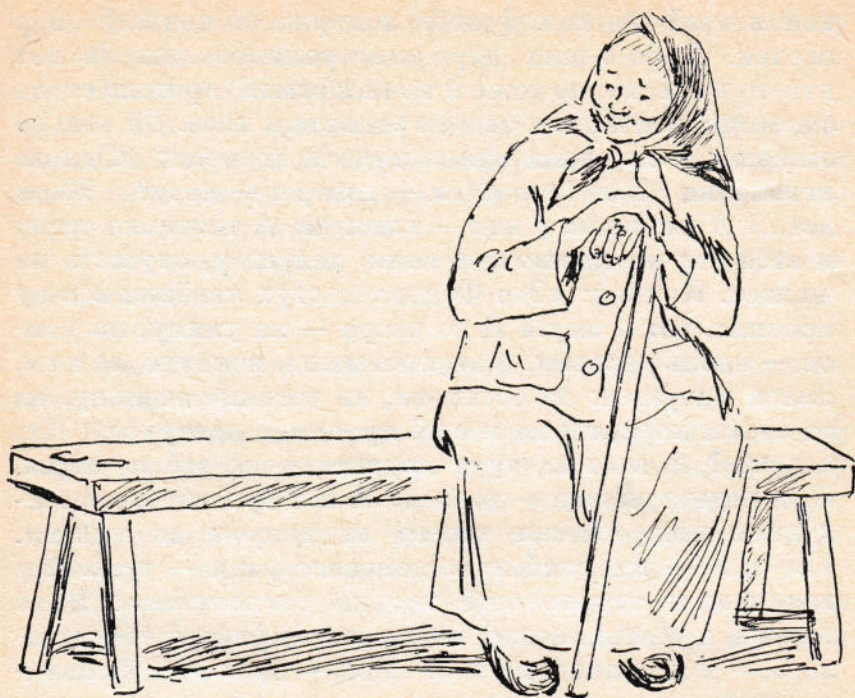
— И Лёня пришёл, и Шура пришёл, и Боря с Лидой... А чего это маленькой Кланюшки не видеть?

Маленькая Кланюшка вылезает на четвереньках из-под стола, она там добывала оброненную вилку, и бабка Катерина успокаивается:

— Все собрались! А скоро к нам ещё и Матвейка Настасьин будет прибегать. Он дома уж вдоль скамейки во всю топчет, сама нынче видела.

— Видела, видела... — совсем как взрослая, перебивает бабушку Катерину Оля. — Садись, картошку ешь, а то ребята остатки домолачивают.





И бабка медленно встаёт, пересаживается на подсунутый Олей табурет, раза два безо всякого аппетита тычет вилкой в сковороду. Потом вдруг спохватывается, как важную весть сообщает нам:

— А ведь не зря я сегодня про Митькинище-то вспомнила, не зря. Туда и впрямь, на ночь глядя, лучше бы не ходить. Я вот на что непугливая, а и со мной одна в девушках произошёл такой случай, — не забыть до смерти.

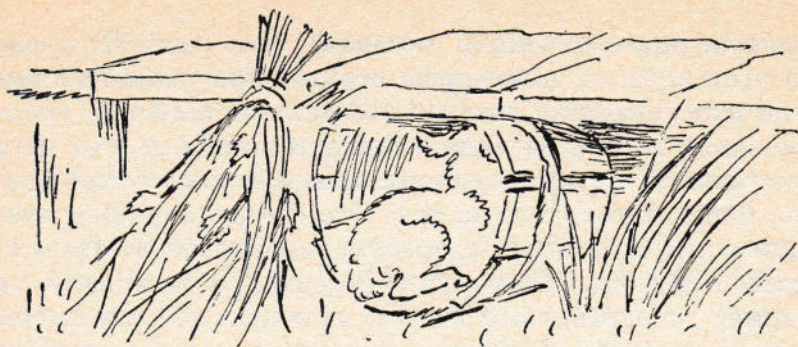
Наши вилки повисают в воздухе. Мы во все глаза смотрим на бабку, — час для её «ляпанья» наступил! Нам лишь остаётся подкинуть вопрос, что, мол, за случай такой, а дальше бабка сама говорит, как печатает:

— Ну, если охота, слушайте... Слушайте, не перебивайте, коли что совру, мимо ушей пропускайте. Жили мы в прежнее время с тятенькой да с матуш-



кой в этой же самой избе и держали полный двор овечек. Хоро-о-ших держали, романовских. И вот как-то по весне, но тоже к ночи к самой, пришло стадо с выгона, и я наших овечек загнала в хлев. Да только загнала, а тятенька глянь туда и говорит: «Одного ягнёночка нету!» «Как,— говорю,— нету? Были все...» А тятенька у нас — кипяток. А тятенька сразу и себя уж не слышит, и меня, девушку, слушать не желает. Кричит: «Это Федька-пастух ягнёнка в лесу проспал, вот я ему!» И со двора — на улицу, по улице — вдоль деревни. Матушка наша, конечно, за ним. Знала матушка: не останови, не догони тятеньку, он со своим характером и ещё хуже всё повернёт... Ну, а я что? А я стою, туда-сюда смотрю, всё не верю. Был ведь ягнёночек-то, был! И вот тут вот чую, милушки мои, сбывал кто-то за двором за нашим. «Бе-е...» — так слабенько донеслось, и я — туда. А у нас там и теперь ещё тропка сохранилась. Вниз тропка, в Митькинище, к бочагам за ёлки в самое болото, — и я, значит, по ней. «Вот,— думаю,— Федька-пастух и верно не виноват, а ягнёночек-дурачок сам мимо двора прошибся. Как бы не заплутал, как бы не утонул,— надо бежать, выручать...» Ну, бежать, конечно, не бегу, робею. Одна ведь, да и темно, поздно, а по тропке всё ж этак тихо спускаюсь. Попойду, милушки мои, попойду, встану, послушаю, а голосок ягнячий опять мне слышать. «Бе-е», кричит снова, «бе-е», будто торопит. А тропка всё круче да неприметнее. А ёлки внизу всё выше да всё чернущие. И под ними сырой туман шевелится. Ветру нет, а он шевелится, так и дышит. И вот уж знобко мне, и совсем страшно, а всё ж иду. Оглянусь на гору, на нашу крышу — она при месяце-то маленько виднеется — и подожду вся снова, и снова шагаю. Сама себе шепчу: «Не пропадать же барашку...» Но пропала-то, милушки мои, я сама бы, да, ладно, прежде чем за ёлки сунуться, взяла да вот этак тишком за них и поглядела. А там и туман исчез, и тропки уж нет. Передо мной бочаг страшный. Чёрная вода в нём





вдруг белым столбом как вздымется, да опять вниз как бухнется, только гул по всему Митькинищу так и раскатился! Сама не знаю: шла ли потом, летела — в один миг у крыльца своего, у дома очутилась...

Бабка Катерина в самом деле переводит дух. В лампе над нами пыхает с треском нагоревший фитиль, и мы все вздрагиваем.

Мы даже ноги подбираем под себя и быстренько, быстренько по лавке передвигаемся ближе к рассказнице, и только Оля, как сидит, подперев ладошкой голову, так и продолжает сидеть на своём месте.

— Эх, бабка, — говорит она, — сама прибежала, а ягнёночка оставила.

Бабка Катерина даже руками всплескивает:

— Так не было его там! Не было и не было, он дома оказался.

— Как так? — сразу оживаем мы все, а бабка торопится досказать.

— Стою я у крыльца, трясусь, а к избе, смотрю, пастух Федька бежит. С ним матушка с тятенькой бегут тоже. Только не они Федьку к нам ведут, а он их сам чуть ли не за руки тащит. «Ишь, — горлопанит, — чего удумали! Я ихнего ягнёнка в лесу проспал... Да не может этого быть. Он у вас, у разинь, где-то здесь!» И шасть, милушки мои, туда, шасть сюда и лезет к нам под крыльцо. А там у нас худая кадушка на боку лежала — он из этой кадушки ягнёнка-то и вытаскивает. «Вот, — говорит, — где он у хоро-



ших хозяев устроился ночевать, вот где! Я с вас за этот шум, за мои нервы осенью при расчёте лишний пуд картошки возьму!» Тятенька, конечно, сконфузился, теперь на меня медведем пошёл. А я от него в сторонку, в сторонку, сама кричу Федьке: «Всё равно, Федя, что-то тут не так! Это сейчас барашек оказался под крыльцом, а совсем недавно он в Митькинище бебекал. Я спускалась туда. Я там чуть со страху не померла. Там ещё и вода в бочаге дыбом встаёт, бухает». А Федька послушал меня, да и тоже обсмеял. «Бухают, Катеринушка-недотёпушка, караси-полупудовики, а кричит «бе-е» — это птах такой. Тоже барашком называется, или по-охотнички — бекас. Видно, парочку себе ищет, видно, гнездо собирается заводить... Да только вряд ли заводить возле нашей деревни станет, больно у нас тут народ суматошный. С ума рядом с нами спятишь!» И повернулся Федька, на тятеньку на моего взглянул ещё разок да и ушагал со двора. Вот так-то! Вот какая история вышла у нас в прежние годы с этим Митькинищем...

И бабка Катерина улыбается, и Оля вовсю смеётся, и мы смеёмся.

Я спрашиваю:

— Отчего ж нам туда не ходить, если там ничего такого и нету?

— Там нету, а дома будет! — отвечает, посмеиваясь, бабка. — Как мне самой потом от тятеньки всё равно было...

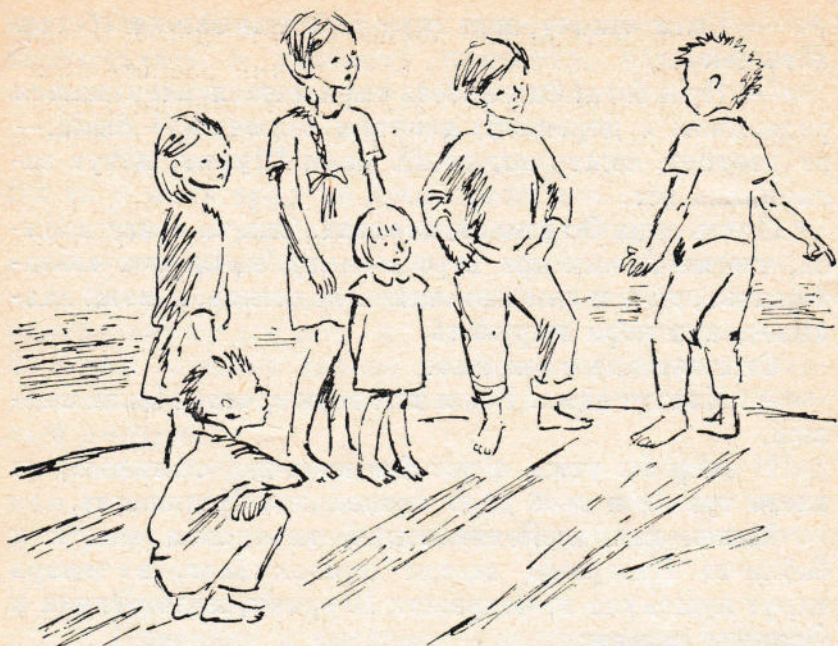
Подобных историй бабка Катерина помнила бессчётно, да вот то, что я хочу рассказать дальше сам, началось именно с этой. Началось всё с истории про Федьку, про барашка и про Митькинище.

Насмеялись мы тогда, наговорились досыта и стали собираться домой. Оля тоже с нами наладилась.

— Провожу, — говорит, — маленькую Кланюшку, да и дверь потом запру.

И мы опять все высыпали на улицу. А там уж совсем настоящая ночь. В небе над крышами ни единой звёздочки не горит, огни в окошках тоже почти





езде погасли, и очень пахнет травой, тёплой сыростью, — вот-вот, кажется, закрапает дождик.

И мы бы сразу тут и разбежались по своим дворам, но Шурик возьми да и спроси всех нас:

— А что, если бы теперь настоящий барашек под горой забякал... Пошёл бы кто искать?

— Я бы пошёл! — сразу откликнулся я.

Откликнулся просто так, из одного лишь хорошего настроения; на моём месте и любой бы то же самое ответил, но Шурик вдруг хмыкнул и насмешливо сказал:

— Хвастаешь! — Да ещё и добавил: — За барашком ходить, это тебе не под чей-то мячик подставляться.

Случись у нас такое с Шуриком один на один, без свидетелей, я бы ему тоже отчеканил: «Ты сам, когда играешь, всегда под Олин мячик подставляешься!» Сказал бы да и помчался домой, но теперь здесь была сама Оля, и я брякнул вновь:



— Если захочу, под гору в Митькинище сбегая хоть сейчас!

— Ну и беги! Сам небось спрячешься, отсидишься рядышком с деревней, а потом скажешь — был... — не утерпел, опять подначил меня Шурик, и тут засмеялись все.

Лишь одна Оля не засмеялась. Она-то сразу поняла, что меня, как при игре в лапту, начинают «заваживать», да я и сам начинаю заводиться, и меня давным-давно пора выручать.

Оля сказала спокойно:

— Хватит вам... Все и так знают, что Лёнька смелый.

И спор бы утих, и всё бы, конечно, обошлось, не влезь тут не в своё дело маленькая Кланюшка.

Маленькая, шепелявенькая, тихонькая, она и у бабки-то Катерины всегда помалкивала, а теперь вдруг прыснула и, подражая Шурику, пристегнула к Олиным словам:

— Шмелый, как жаяц!

И это решило всё. Оля хотя и одёрнула Кланюшку так, что та ойкнула на всю улицу, но меня уже словно какой вихрь подхватил.

Я выскочил прямо на проезжую дорогу, отчаянно и громко гаркнул первое, что в голову пришло:

— Эх, грудь в крестах или голова в кустах! А ну, раздайся, народ, а то конём стопчу!

И залихватски, будто плетью, полоснул рукой по воздуху, взягнул пятками, и — ударился за деревню под крутую гору вниз.

Вслед мне что-то закричала Оля. Закричала Кланюшка. Потом загорланили все. Даже Шурик вроде бы начал звать меня обратно, да я летел теперь так, что и сам себя не смог бы остановить.

Несли меня вниз, прямо в глухую тьму под горой, прямо в самую бездну Митькинища даже не ноги, а какая-то непонятная сила. И то ли это сперва была гордость, то ли злость, объяснить не могу, а вот то, что очень скоро меня охватил самый настоящий ужас,



так это уж верно. И охватил он меня как-то странно. Я бежал не от него, я бежал прямо на него. И чем страшнее мне было бежать, тем сильнее и сильнее я наддавал.

Мчался я так, словно страх — это чёрная, тонкая, летящая где-то передо мной стенка; и мне казалось, что, если я догоню эту стенку и прошибу, то вот только тогда всё жуткое и кончится.

Я нёсся, не разбирая дороги. И сколько я бежал, я не знаю. Может быть, полверсты, а может, и целую версту, — но я ничего не видел и не слышал.

Опомнился я лишь тогда, когда под ногами прогремел какой-то мост, и я почувствовал, что дорога теперь взяла круто кверху, что пошла она куда-то чуть ли не в тёмное небо, и сил по ней бежать у меня не стало никаких.

Босые ноги мои заплелись в глубокой, топкой от пыли колее, и я едва не упал. Я чуть не грохнулся, но удержался и ещё пробежал немного, и опять чуть не упал. И вот лишь тут оглянулся. И вдруг увидел: тёмное-то, ночное Митькинище — позади! Я перебежал его, пересек, и ничего со мною не случилось! Нет здесь никакой стенки, нет здесь никакой ужасной бездны, — я цел-целёхонек, я жив-живёхонек и даже слышу, как тукает у меня в груди моё живое сердце.

Я засмеялся, настолько мне стало свободно и легко.

Я тихо пошёл назад к горбатенькому, чернеющему внизу среди ёлок над тусклым бочажком мосту и опустился прямо на шершавый, избитый лошадиными подковами и тракторными шипами накат. Ноги-то меня уж всё равно не держали, но и страх мой начисто пропал.

И то ли потому, что он пропал, то ли потому, что ночные облака вдруг рассеялись и зажглась в небе над горой круглая луна, но я стал видеть и слышать всё вокруг намного ясней.

Сижу, смотрю, слушаю, обратно не спешу, а там вдалеке как будто бы и коньки наших крыш вижу,



и тёмные макушки знакомых берёз вижу, и слышно, как на горé полаивает чья-то собачонка, и с каждой минутой мне всё лучше.

Спокойней мне и потому, что от бочажка, над которым сижу, тянет, совсем как от деревенского пруда, слабым запахом влажных кувшинок. От перил моста, от брёвен тоже знакомо и уютно пахнет пересохшей пылью, тракторной соляркой. А тёмные ёлки вокруг бочажка тоже совсем не страшные. Опустив мохнатые лапы, они дремлют при лунном свете, не колышутся, и даже не понятно, отчего это бабка Катерина когда-то напугалась их.

Впрочем, по тропке по своей она могла попасть и не сюда. В её время и бочажки, и ёлки, которые тут тянутся друг за другом на целые вёрсты, были наверняка другими. С той молодой бабкиной поры времени прошло — оё-ёй сколько!

Удивительнее то, что мы сами вот сюда ни разу не решились заглянуть. Ну, не то чтобы не решились, не то что боялись, а как-то и в голову нам никому не приходило, что есть тут в ельнике под горой такое вот уютное местечко с мостиком и с бочажком; а бежали мы всё больше на чистые луга, на Конёвий омут, хотя и туда дорога, наверное, была не короче ничуть...

Я так успокоился, что и про всю нашу компанию опять вспомнил. И про Олю вспомнил, и, конечно, про Шурика. «Вот хорошо бы, — подумал я, — утереть нос Шурику и его подпевале Кланюшке ещё крепче. Вылезти бы сейчас из-под горы и, совсем как пастух Федя в бабкином рассказе, насмешливо заявить: «Эх вы, тетери! Пока вы тут в деревне отсиживались, я новый бочаг для купанья нашёл и вот кого ещё принёс с Митькинища...» И тут бы в моих руках очутился настоящий барашек. И я бы этого барашка так прямо перед ними на дорогу на гладенькие копытца и поставил... Вот бы они и сели тут! Вот бы они, как бабкины тятенька с матушкой, и сконфузились. А я бы им барашка и погладить не дал, а снова бы поднял и Оле преподнёс: «Держи, Оля. Он — твой!»



А Кланька и Шурка пускай и близко к нему не подходят...»

Я так размечтался, что мне в самом деле показалось: держу я на руках тёпленького, в мягких колечках барашка и он — брыкается. Я даже на руки поглядел, хотя они, конечно же, были пустые.

Но я не растерялся.

«Ладно! — подумал я. — Чтобы утереть Шурику нос, я всё равно тут что-нибудь этакое разыщу. Ведь торопиться мне теперь ни к чему. Чем позже вернусь в деревню, тем даже лучше. Пускай Шурик попереживает, пускай ему за меня попадёт!»

Я медленно встал, медленно, нога за ногу, побрёл вдоль перил.

Внизу, по-за серыми торцами брёвен, всё так же отражался свет луны на чёрной воде, и там было очень тихо. Настолько тихо, что слышалось, как сыплется на воду лёгкая пыль сквозь щели моста, и лишь изредка, когда падал комочек побольше, под мостом взбулькивало. А потом кто-то звонко квакнул, кто-то с берега плюхнулся, по воде побежали светлые круги, и я засмеялся: «Лягушонок! Вот и свидетель, что я был на Митькинице. Да только жаль, свидетелей таких и в деревне полон каждый пруд. Никто из ребят, даже Оля, в лягушонка не поверит».

Но за перила моста я всё-таки поглядел.

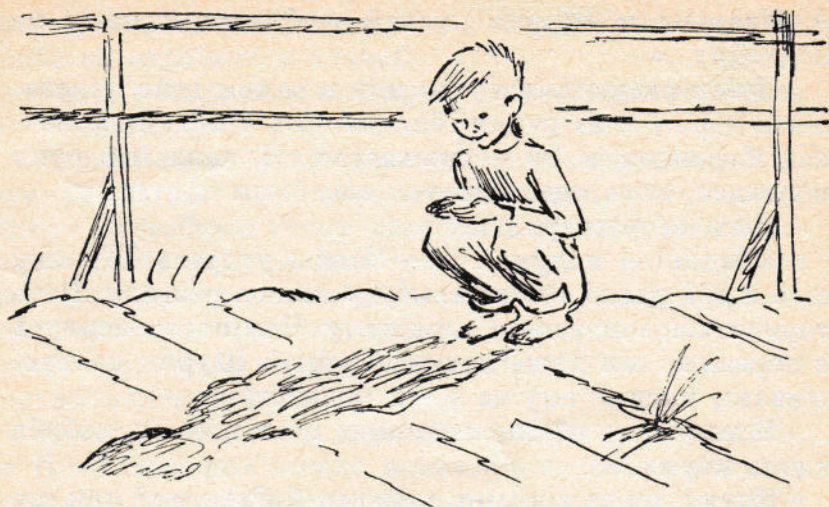
Там, внизу, по некрутому откосу кустилась при ночных сумерках тёмно-серебряная трава. И когда я над ней свесился, то так и ахнул. В путанице травяных листьев горел, не мигал голубой фонарик.

Рядом с ним — ещё один, и ещё... И я, как держался за перила, так тут и прыгнул вниз и, ожёгшись о холодную росу голыми коленками, сам, как лягушонок, замер на четвереньках.

Спасибо лягушонку-попрыгунчику! Огоньки в траве были такими крохотными и спрятались так далеко под мост, что я без лягушонка, без его кваканья ничего бы и не заметил, прошёл бы мимо.

А теперь эти лесные жучки-светлячки прямо





передо мной. Лесные, здешние, в самый раз для меня подходящие!

Я мигом представил, как Оля бережно их в своих руках держит, радуется, а вся наша компания тоже толчется вокруг. И все, а главное, конечно, Шурик, жалобно канючат: «Да-ай поддержать...» Но Оля отвечает: «Светлячки не мои, спрашивайте у Лёньки!» Ну, а я вновь, как пастух Федя, гляжу с усмешкой, разговаривать не очень-то желаю. Обращаюсь я к одной только Оле: «Твои они, Оля, твои все до единой искорки...»

От такой невозможной приятности у меня даже заняло сердце, и я уселся на корточки, правой рукой осторожно снял с травинки и опустил в другую, свободную пригоршню, как в корытце, тихого светлячка.

Был он невесомым. К нежно-прозрачному, слабому тельцу его, казалось, и притронуться нельзя — светлячок сразу может исчезнуть, умереть. Но я взял его так, что он не угас.

Потом я потянулся за другим светлячком. Для этого мне пришлось залезать в самую тесноту под щелястые, пахнущие сухой землёй и старой гнилью



брёвна. И вот только я туда забрался, как вдруг наверху, на дороге, в ночной тиши как будто бы что-то быстро и крадучись пробежало.

Сначала я подумал, что это мне показалось. Но когда притаился и снова послушал, то там протопало опять и опять.

Чудно́ так протопало: топы-топы-топ! — и остановилось. Затем вновь: топы-топы-топ — и остановилось. Но встало теперь над моей головой на мосту, замерло там так, как будто учуяло меня, и от одной этой мысли я обмер.

Да что там обмер! У меня волосы на макушке поднялись, и я мигом позабыл всё то, что было со мной, когда я мчался из деревни, потому что тот страх был совсем и не страх по сравнению вот с этим.

Тот страх был — вообще. Неведомо отчего. А тут — вот оно, рядышком остановилось, и слышно, как шевелится, слышно, как дышит.

Причём дышит тоже подозрительно. Я замру, ни вдоха, ни выдоха не делаю, и — оно замрёт. Я не стерплю, рот закрою ладошкой, дух переведу, и оно переведёт. Да ещё и зашевелится опять, переступит надо мной по брёвнам, осыплет меня мусоринками, придвинется ближе к перилам.

И чувствую, вот-вот оно спрыгнет вниз; вот-вот ко мне под мост заглянет; и тут бы я заорал благим матом и кинулся бы искать спасения хоть прямо в тёмном бочаге, да оно оттуда, сверху, вдруг спрашивает негромким голосом:

— Лё-ёнька, а Лёнька... Это ты под мостом-то, что ль?

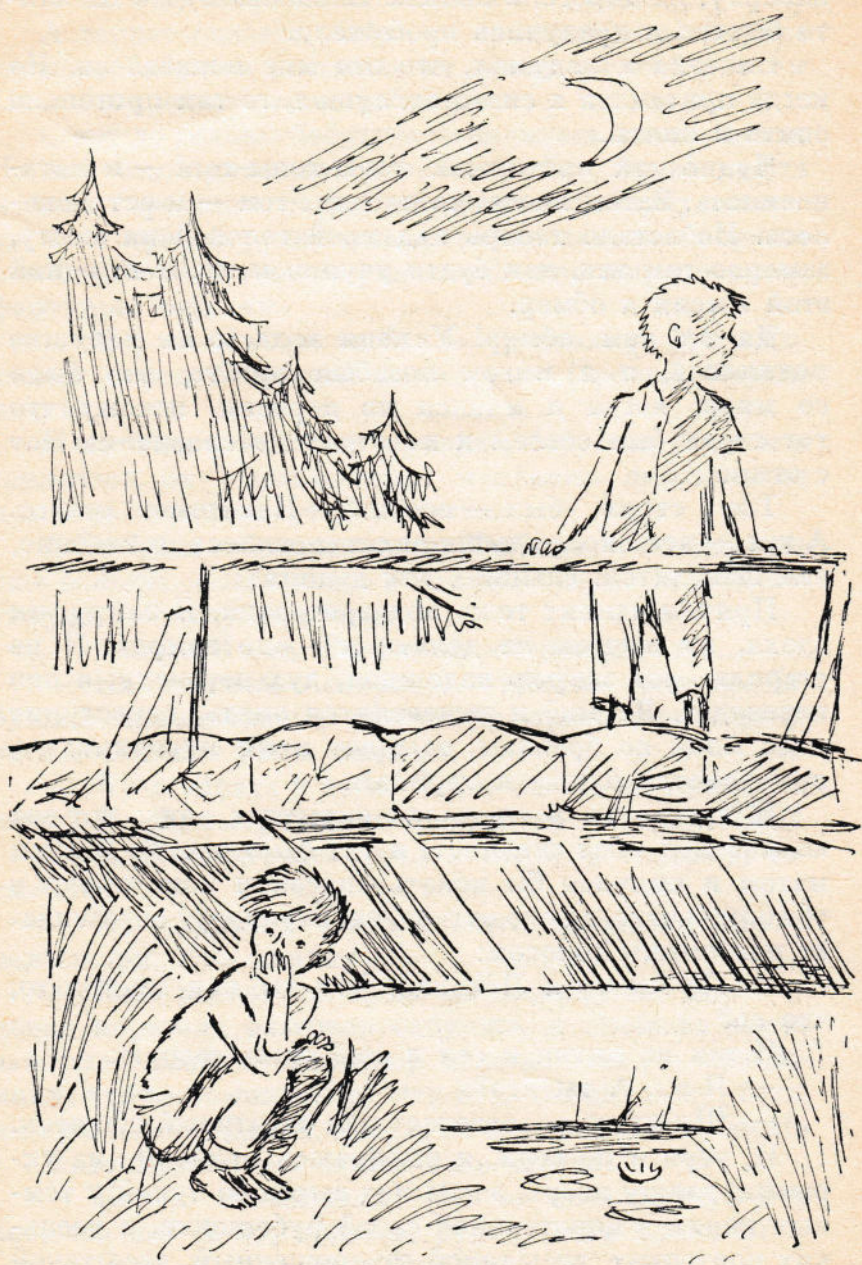
Я так на пятки и сел и ещё тише говорю:

— Я-а... А ты кто?

— Шу-урик... — отвечает мне боязливый шепоток.

И, веря и не веря, я выбираюсь медленно из укрытия, гляжу вверх, а там под высокою луной у тёмных перил в коротенькой своей рубашонке, в узеньких порточках, весь такой взъерошенный, весь такой







перепуганный, что даже и смотреть жалко, стоит в самом деле Шурик.

И вот тут я окончательно ослаб.

Я как на корточках сидел, так и опустился совсем на траву и ни единого словечка теперь вымолвить не могу.

Зато Шурик шепчет:

— Я ведь к тебе, Лёнь, на выручку прибежал... Мы там ждали тебя, пождали, а тебя всё нет, вот я и примчался...

Он шепчет, а сам оглядывается на чёрные ёлки, оглядывается на белые полосы встающего над бочагами тумана, и мне видно, что от страха своего он всё ещё не опомнился; и мне слышно, он там на мосту этак прерывисто воздух в себя наберёт, да при этом ещё и всхлипнет, наберёт и — всхлипнет...

А я и сам зареветь теперь готов. Но уже не от ушедшего испуга, а от ласковой нежности к Шурику, которая вдруг охватила меня всего. И мне даже как-то неловко, как-то немножко совестно и непривычно от этого, и я лишь опять невнятно бормочу, шарю по траве одной рукой вокруг себя:

— Подожди, Шурик, подожди... Я счас!

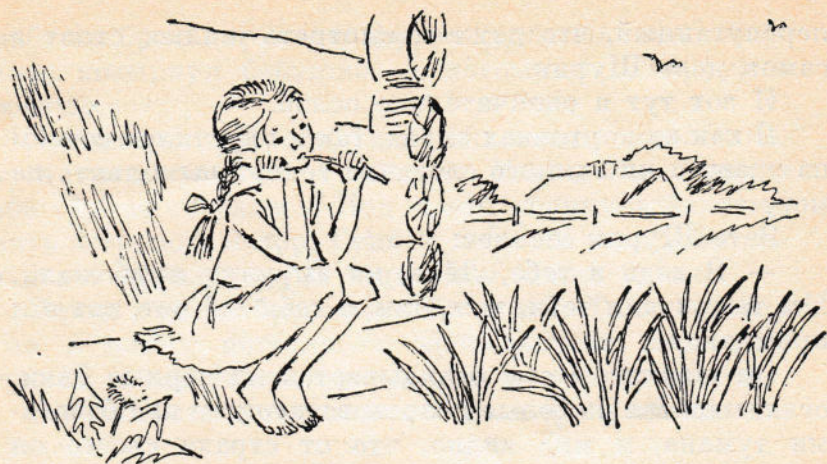
Я ищу светлячков, но их уж нет. Они куда-то попрятались. И горит лишь тот, что у меня в горсти, — даже странно, как я его не выронил.

И тогда я с ним полез по крутому склону, по росе, прямо к Шурику. А когда подошёл, то сказал:

— Подставляй, Шурик-мурик, ладошку... Подставляй, подставляй, не бойся... Завтра прибежим сюда вместе, найдём светлячков для Оли, найдём для Кланюшки, а этот светлячок — твой.







### ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Любаша собирается в третий класс, а ростом она и поныне, как самый крохотный первышонок. Из-за этого все только и называют её что «чижиком», и она, конечно, очень расстраивается.

Она нет-нет да и уходит за дом в огород, садится там на завалинку рядом с луковой грядкой и, сорвав горькое пёрышко да подпершись рукой, мечтает о том времени, когда «чижиком» для всех быть всё ж таки перестанет.

Ей хочется придумать что-нибудь такое, отчего бы вдруг все стали её уважать вот так же крепко, как бабушку Елизавету Марковну. И даже, может быть, хотя бы раз-другой, тоже как бабушку, повеличали по имени-отчеству. Но бабушку так величают ещё и потому, что она — старушка, а Любаше старушкой становиться рано, и вот она не знает, что делать.

«Ладно,— вздыхает Любаша,— придумаю что-нибудь в другой раз...», и она идёт домой к бабушке.

Отец с матерью в эту пору днюют и ночуют на



дальних совхозных покосах, и Любаша с бабушкой живут вдвоём.

Вот и в сегодняшний вечер бабушка управилась с коровой, Любаша поставила самовар, а потом они усадились пить чай у распахнутого окошка.

Свет не зажгли, и в сумерках широкую, длинную улицу видать далеко. Там дремлют берёзы, в соседних домах уютно светятся огни, пыль на дороге остыла, и в окно из палисадника тянет прохладой и тонким запахом огуречных листьев.

Хорошо слышно, как на той стороне улицы, у себя во дворе, бабушкина подруга Анна звякает подойником, негромко поругивает беспокойную бурёнку, а на краю посёлка на школьной усадьбе стучат по тонкому железу кровельные молоточки, перекликаются строительные рабочие.

— Это они к первому сентября стараются... Вечеруют, дай бог им здоровья, — тихо говорит о рабочих бабушка и наливает себе чаю в блюдце.

Блюдце она подняла, утвердила на широко расставленных пальцах, не спеша подула, отхлебнула, тут же вспомнила:

— В новой-то школе в третью группу пойдёшь. Старше становишься... По этому случаю надо тебе подарок купить. В магазине я новые портфели видела, так уж матери подскажу.

Любаша тоже налила себе чаю из чашки, но поднимать блюдце не стала, а низко наклонилась к нему и отхлебнула шумно.

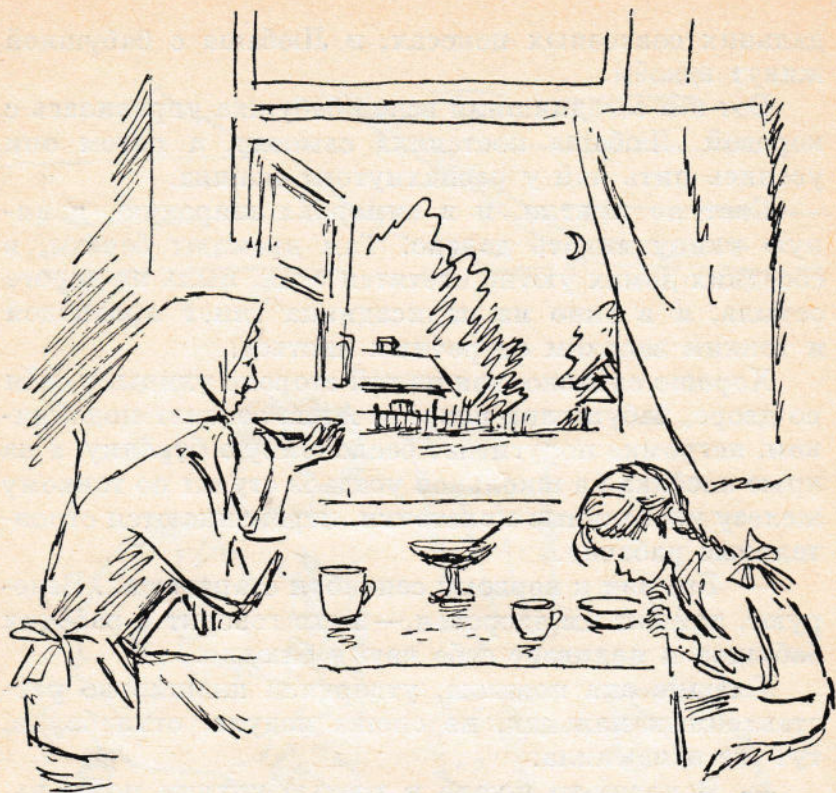
— Нет, бабушка. Портфель покупать не надо, я с прежним похожу. Лучше купите мне туфли на каблуках.

— На чём? — так и поперхнулась бабушка. — На каких таких каблуках?

— Да нет, нет! Не на модных... Не на самых высоких... А вот на таких... Чтобы я стала чуть побольше ростом.

И только Любаша собралась объяснить, на каких именно каблуках ей нужны туфли, как на улице





затарachtело, чихнуло и смолкло под самым окном.

Бабушка с Любашей про туфли позабыли, перевесились через подоконник, увидели у тёмной калитки мотоцикл с коляской. В седле и в коляске никого уже не было, а в сенях заскрипела, затрещала лестница.

Через миг в дверь избы стукнули и, не дожидаясь ответа, вошли. Вернее, вошёл-то всего-навсего один человек, да зато это был почти самый главный в совхозе человек: бригадир-полевод Иван Романыч Стрельцов.

Любаша ойкнула. Она сразу, даже в сумерках, узнала Ивана Романыча по его военной фуражке, а главное — по голосу.

— Здравия желаю! — так гроыхнул Иван Рома-



ныч, что лёгонькая, сутулая бабушка за столом подскочила.

— Ну и голосина у тебя, Иван! Ты ведь теперь уж не в армии... Так до смерти напугать можешь.

— Это я нечаянно, по привычке. Всё, ясно-понятно, пограничную заставу забыть не могу, — засмеялся Иван Романыч и добавил: — Вы что тут в потёмках сидите?

Бабушка выбралась поспешно из-за стола, пошарила по стене, щёлкнула выключателем.

Свет хлынул, и Любаша увидела, что Иван Романыч с ног до головы весь в пыли. Пыль — на сапогах, на плечах, на лаковом козырьке фуражки и даже на бровях.

Он и сам глянул на себя, развёл руками:

— Прости, Лизавета Марковна. С работы...

— Знамо, не с гулянки, — мигом простила бабушка, открыла буфет и сняла с полки цветастую праздничную кружку.

— Садись, чаем угощу. Небось на лугах был? Поклон от наших привёз?

Но Иван Романыч скинул фуражку, быстро и вежливо наклонил голову:

— Угощаться некогда, а вот поклон, Лизавета Марковна, привёз, это точно. Только не с лугов, ясно-понятно, а с поля от ребят-комбайнеров. Приглашаем тебя к нам в повара.

Бабушка как стояла с кружкой в руках, так и застыла.

Вид у бабушки стал такой, будто она услышала что-то немыслимое.

— Ты всерьёз?

— Ясно-понятно, всерьёз! — опять кивнул Иван Романыч, прижал к груди фуражку и торопливо заговорил о том, что на полях в Заложье началась уборка, что хлеба там вызрели — аж звенят! — и комбайнеры поспешают изо всех сил. Да вот беда, бригадная стряпуха прихворнула, и людей завтра в поле накормить некому... Если, конечно, не согласится







Лизавета Марковна, если, конечно, она сама не уважит ребят-комбайнеров, а комбайнеры-то, ясно-понятно, все помнят её замечательную стряпню ещё с прошлого лета и, ясно-понятно, низёхонько кланяются!

Иван Романыч говорил всё напористей да напористей и ближе да ближе подходил к бабушке. А бабушка отступала да отступала и вот села на лавку у самой стены:

— Ох, не знаю, Иван...

— Бабушка, соглашайся! — пискнула из-за стола дрожащим от волнения голосом Любаша.

Ей-то самой так захотелось туда, в Заложье, где спелые хлеба «аж звенят!», что позови Иван Романыч не бабушку, а её, Любашу, так она бы и секунды не раздумывала, а спохватилась бы и побежала хоть сейчас вприскачку до самого Заложья. Она, Любаша, именно о таком вот событии и мечтала всю жизнь и, конечно, вновь тоненько пискнула:

— Я тоже согласная...

Но шумный, большой, занявший собою чуть не пол-избы бригадир на Любашу и не взглянул, а бабушка её голоса будто и не слышала.

Бабушка сама до того разволновалась, до того разволновалась, что так вот и сидела с кружкой в руках и всё глядела в кружку, словно ответ на вопрос был написан где-то там, на самом донце.

— На один день, рассказываешь?

— На один... — поспешно кивнул Иван Романыч. — Туда и обратно на собственной карете домчу.

— Ну, ежели так... — вздохнула бабушка и поставила кружку на стол. — Ну, ежели так, утречком заезжай.

И она опять вздохнула, но теперь было видно — вздыхает бабушка притворно, добрые глаза смеются. Тому, что решилась, она рада теперь и сама.

— Подомовничать Анну уговорю, — заключила бабушка.

— Пр-равильное решение! — опять на всю избу



пробасил бригадир, надел фуражку и, щёлкнув каблучками, козырнул бабушке. А потом он козырнул и Любаше.

Любаша покраснела, уткнулась носом в столешницу, а когда глянула опять, то Ивана Романыча в избе уже не оказалось. Под окном хлопнула калитка, опять затрещал мотор. Гулкий шум его стал удаляться и вот пропал, затих в дальнем конце улицы.

Улица теперь была ночной, синей. Там теперь и огни в домах погасли, и кровельщики перестали стучать, а над тихими деревьями зажглись звёзды.

Бабушка стала закрывать окно, и тут Любаша сказала:

— Завтра утром я тоже поеду в Заложье.

Бабушка стукнула оконным шпингалетом, подавила рукой на раму, проверила, заперлось ли, ответила спокойным голосом:

— Ну да... Поедешь... Только там тебя, чижа, и ждали... Там ведь, милая моя, надо не шутики шутить, а рабочих мужиков кормить. Знаешь, там хлопот сколько? Нет, нет, и не собирайся, и не выдумывай.

И тут всегда крепкая на слёзы Любаша заплакала:

— Эх, бабушка, бабушка! Я-то думала, ты со мною всегда по правде, а ты такая же, как все... Сначала говоришь: «Старше становишься!», а как до главного дошло, так опять — чиж. Ну и пусть! Пусть навсегда я чижом и останусь, и не надо мне никаких туфель-подарков, ничего не надо... Пускай теперь другие ходят в новых туфлях, пускай другие разъезжают на мотоциклах с колясками, пускай мужиков кормят, пускай хлеба убирают, а я... А я...

И Любаша залилась так горько, что слёзы покатались по щекам, по подбородку, и одна слезинка капнула прямо в недопитый чай.

Бабушка такой грустной картины, конечно, не перенесла. Она подбежала к Любаше, обняла и принялась утирать мокрые Любашины щёки. Потом заставила высморкаться, сказала:

— Ну вот, а то сразу и реветь... Возьму я тебя,



возьму. Утром с Иваном Романычем потолкую и возьму.

А наутро бабушка сама разбудила Любашу:

— Вставай, поторапливайся!

И Любаша так стала торопиться, что собралась даже вперёд бабушки и выскочила босиком на крыльцо, в палисадник.

Прохладные ступени крыльца были ещё в тени. И весь палисадник был в тени. А от заплёснутой утренним солнцем школы опять долетал дробный перестук молоточков. Любаша глянула туда и увидела крохотных, будто муравьёв, вчерашних кровельщиков. Они сидели на самом коньке, быстро взмахивали молоточками, и звон оттуда долетал такой радостный, что Любаше захотелось крикнуть: «Эге-гей! Здравствуйте! У меня сегодня тоже рабочий денёк. Я уже не чиж, я — бабушкина помощница, еду в поле мужиков кормить!»

Крикнуть так Любаша, конечно, не крикнула, только подумала об этом, а тут донёсся и дальний голос мотоцикла. Сначала за яркими от солнца берёзами, где-то в переулке, словно бы занял комарик, потом комарик превратился в басовитого жука, и вот из-за поворота выскочил и сам трескучий мотоцикл, а на нём Иван Романыч.

Бригадир тормознул у калитки, соскочил на траву. Лаковый козырёк его фуражки сегодня сверкал, пряжка ремня на свежем комбинезоне блестела, а на боку висела полевая армейская сумка, а от всего этого Иван Романыч был похож на строгого командира.

Любаша как глянула на него, так сразу подумала, что весь её вчерашний уговор с бабушкой он ещё может отменить, и заполошно крикнула:

— Ой, бабушка! Ой, скорее! Иван Романыч приехал.

— Иду-у... Слышу, слышу, — донеслось из избы, но бабушка вышла не вмиг.

В избе сначала погромело, в избе сначала постучало — похоже, платяной шкаф, похоже, ящики комо-



да, — и вот хлопнула дверь, и заскрипели ступени, и наконец-то бабушка появилась на крыльце.

А вернее сказать, бабушка не появилась. Вернее сказать, бабушка выплыла из тёмных сеней таким светлым-пресветлым корабликом.

С ног до головы бабушка нарядилась во всё новое. На ней была длинная сатиновая юбка, белая кофта мелким горошком, передник в светлую голубую клетку, а на правой руке, чуть отставив локоть, бабушка важно и бережно несла увязанную другим, запасным фартуком корзину.

— Ух, ты-ы! Хоть на бал... — распахнул Иван Романыч перед бабушкой калитку: — Прошу! Карета подана.

И хотя он сказал это шутливо, бабушка так вся и зарделась от удовольствия, медленно поплыла от крыльца к распахнутой калитке.

А Любаша забеспокоилась. Любаша всполошилась ещё больше. «Этак и про меня она забудет!» — и потянула бабушку за рукав:

— Скажи Ивану Романычу скорее, скажи...

— Не суетись, — ответила строгим голосом бабушка, остановилась у мотоцикла, принялась ощупывать в коляске узкое сиденье.

— Ну и карета у тебя, Иван! Зыбка на одном колесе... Поди, вытряхнешь где-нибудь на колдобине?

Иван Романыч поставил в коляску корзину, засмеялся:

— Не вытряхну. Колёс, ясно-понятно, не одно, а целых три. Нам хватит.

— Нам хватит, да куда помощницу посадим? — ловко перевела разговор бабушка, и Любаша опять замерла: «Сейчас бригадир ответит: какую помощницу, что за помощницу? Эту вот, что ли? А ну, беги, чижик, домой! Давай, давай, не задерживайся, беги!»

Иван Романыч в самом деле сказал:

— Какую помощницу? Что за помощницу? Эту вот, что ли? А ну, покажи, руки у тебя крепкие?

— Что? — удивилась Любаша.



— Я спрашиваю, руки у тебя крепкие?

— Крепкие, крепкие! Очень крепкие.— И Любаша вскинула руки, стиснула их в кулачки: — Вот какие крепкие!

— Тогда садись позади меня и держись...

Иван Романыч топнул по стартёру, мотоцикл фыркнул, заржал, как жеребёнок, рванулся с места вперёд.

Бабушка в «зыбочке» ахнула, обняла корзину. Любаша ухватилась за ручку седла, припала щекой к спине бригадира и увидела, как помчалась назад вся поселковая улица.

Понеслись берёзы, понеслись избы, лужайки, совхозная контора, магазин, а из-под самой коляски с дороги сорвался петух и взлетел на крыльцо магазина, и что-то заорал там сквозь грохот мотоцикла, наверное: «Батюшки! Спасите! Караул!»

Так быстро Любаша не ездила никогда. У неё обмирала душа, щекотало в пятках, но было это не от страха, а от огромной радости. Она словно бы летела, и весь мир летел ей навстречу.

Он был очень добрым — этот утренний мир. По голубому небу бежали белые, удивительно светлые облака. Зелёная земля во все стороны от дороги то медленно всплывала холмами, то вдруг раскрывалась тенистыми овражками. В глубине овражков держался лёгкий туман. Невдалеке из тумана выходило пёстрое стадо. Коровы щипали траву, а заслышав мотор, все по очереди, как бы приветствуя Любашу, поднимали большие, влажные морды; и даже пастух, который сидел на карей лошади верхом, привстал столбиком в стремях, ласково Любаше помахал.

А бабушка по сторонам не смотрела. Платок у бабушки сбился, кофта надулась пузырьём. Испуганной бабушке, наверное, казалось, что ветер вот-вот выхватит её из коляски и унесёт, как пушинку, неведомо куда. Но мало-помалу мотоцикл сбавил ход, нырнул по пыльной колее в лес, а потом выскочил



из-под тёмных елей на солнце, и от света и простора у Любаши зарябило в глазах.

Здесь небо синело ещё ярче, вокруг, куда ни глянь, золотилась рожь.

Комбайны работали уже всюду. Их было три. Огромные, бурые от пыли, грохочущие, они ползли прямо на зыбкую стену хлебов. И высокая рожь покорно сгибалась им навстречу, падала на широкие жатки, и там, где комбайны прошли, поле становилось колючим, ровным, словно подстриженным под машинку. Лишь копны соломы почти до горизонта светло желтели на нём.

Когда мотоцикл и первый комбайн поравнялись, то Иван Романыч весело взмахнул ладонью, показал комбайнеру на бабушку: «Смотри, мол, кого я сюда к вам привёз!»

Чёрный, весь обгорелый на солнце комбайнер со штурвала рук не снял, но улыбочиво и глубоко с высокой площадки поклонился.

Бабушка приосанилась, тоже хотела поклониться, да поклон у неё не вышел: на коленях, чуть ли не упираясь в бабушкин подбородок, стояла высокая корзина.

А навстречу двигался уже второй комбайн с комбайнером, и опять Иван Романыч, как бы хвастаясь, показал на бабушку.

«Ну и ну! — улыбнулась Любаша. — Елизавету-то Марковну мою как встречают! Даже завидно».

Тут от самого дальнего комбайна к дороге помчалась грузовая, полная зерна машина. Она лихо перескочила дорожный кювет, тяжёлый кузов подбросило, зерно плеснулось через борт, и бригадир в седле мотоцикла даже привстал:

— Эх-х!

— Господи! Что делает, супостат! — охнула бабушка, а Иван Романыч сердито крутнул руль, поставил мотоцикл поперёк дороги.

Машина остановилась. Из кабины остолбенело смотрел на Ивана Романыча молодой шофёр.



У него там, в кабине, на тонкой цепочке покачивался игрушечный утёнок с круглыми, удивлёнными глазами, и у шофёра глаза были точно такие же удивлённые.

Шофёр выскочил:

— Чё такое, чё? Стряслось чё-нибудь?

— Стряслось, — ответил Иван Романыч. Он весь так набычился, что Любаша загодя пригнулась: «Сейчас как крикнет!»

Но Иван Романыч не крикнул, а только шумно, всей грудью набрал воздух, шумно выдохнул и взял этак бережно, двумя пальцами шофёра за кармашек расписной рубахи.

— Случилось, Петенька-дитятко, случилось... Ты скажи, хлеб в магазине буханками берёшь?

— А чё? Буханками! Как день, так три буханки... Семья у нас великушая, уминают — будь здоров. А чё?

— Ни «чё», милый... В магазине буханки считать умеешь, теперь пойдём, посчитаем на дороге.

— На какой дороге? Я тороплюсь, — попробовал освободить рубаху шофёр, но Иван Романыч рубаху не выпустил, а прямо так, за кармашек, и повёл Петеньку к тому месту, где расплеснулось по траве янтарное зерно.

— Любуйся, милоч, считай буханки. Да пока не твои собственные, а, ясно-понятно, государственные.

Шофёр почесал кудрявый затылок, развёл руками:

— Ну-у, Иван Романыч... Ты из-за этого? А я-то думал — беда... Ну, газанул! Ну, просыпал малость... Так ведь спешка! Сам знаешь, где пироги едят, там и крошки летят.

Петенька, похоже, успокоился совсем. Он даже подмигнул бригадиру:

— А в общем-то, я ещё молодой! А в общем, я ещё исправлюсь! Дай дорогу, мне ехать надо.

И тут Иван Романыч опять тихим голосом, мед-



ленно, очень медленно, чуть не по слогам сказал:

— Нет, не поедешь... Сначала подбери «крошечки».

— Так лопаты нет, — улыбнулся было Петенька, да глянул в глаза Ивану Романычу, мгновенно осекся: — Ты что? Вы что? Я сейчас... Я — мигом.

Петенька даже чёкать перестал, даже на «вы» перешёл и сдёрнул с головы кепку, присел на корточки, быстро-быстро пригоршнями начерпал в кепку зерна, помчался к машине.

Иван Романыч стоял, не говорил ни слова. Бабушка с Любашей тоже притихли. А шофёр всё черпал и черпал, бегал туда и обратно, торопливо объяснял:

— Я, Иван Романыч, не видел... Я кабы видел, так сам бы остановился... Я нечаянно, вы не думайте.

А когда всю рожь собрал, то спросил:

— Ну, я поехал?

Бригадир молча откатил мотоцикл с бабушкой и с Любашей в сторону. Шофёр хотел помочь, да бригадир ему не дал. Тогда Петенька вздохнул, полез к себе в кабину. Игрушечный утёнок там давно покачиваться перестал, вид у него был тоже сконфуженный.

А у Любаши пропало праздничное настроение. Она робко поглядывала на сердитого Ивана Романыча, и на душе у неё было так, как будто это не шофёр виноват во всём, а она сама.

Лишь бабушка сохраняла спокойствие. Когда грузовик осторожно стронулся с места, а хмурый бригадир опять взялся за руль мотоцикла, бабушка сказала:

— Успокойся, Иван. Петька-то и в самом деле молодой, потому и маховитый. Ещё наживёт ума, исправится. — Потом тихо рассмеялась: — Нас быстрее вези. А то проштрафимся и мы с Любашей. Комбайны по второму кругу идут, а мы всё ещё не на месте.

Комбайны и в самом деле заходили на второй



круг. Они обошли поле со стороны леса и теперь поднимались к дальнему пригорку, над которым темнела какая-то кровля и макушки старых рябин.

Иван Романыч глянул на пригорок:

— Место вот оно...— И на ходу уже добавил: — Вы-то у меня вряд ли прощтрафитесь.

Заложье, куда привёз бригадир новую повариху с помощницей, было когда-то маленькой деревенькой. Но теперь все здешние жители перебрались на центральную усадьбу в Любашин посёлок, и от Заложья осталось только название местности, колодезный сруб весь в крапиве и лопухах да замшелый амбарчик.

Вокруг амбарчика высились алые рябины. Под ним стоял грубо тёсанный стол и маленькая печка с чёрною самоварной трубой. Бригадир подкатил прямо к печке:

— Приехали!

— Приехали с орехами,— подтвердила бабушка и, покряхтывая, зашевелилась в тесной коляске, стала выбираться.

Иван Романыч тут же заспешил:

— Ну, я помчался. К комбайнам помчался.

Он в самом деле, не мешкая, побежал, забухал сапогами по тропке к околице, потому что комбайны там вновь разворачивались, заходили на третий круг.

Бабушка смахнула со стола рябиновые сухие листья, подняла корзину, распустила запасной фартук.

— На-ка примерь...

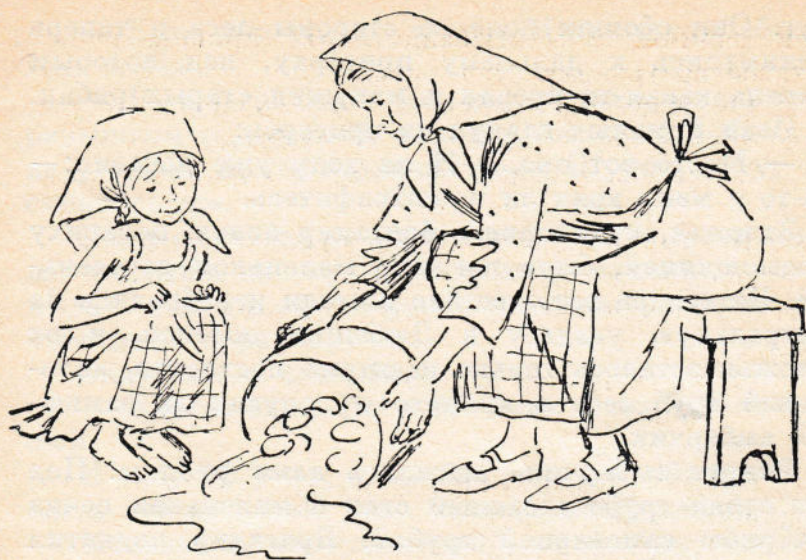
Фартук оказался Любаше длинен, да зато был в голубую клетку, не хуже, чем у бабушки. А когда Любаша повязала его и сверху подвернула, то и по длине он стал почти в самый раз.

— Умница,— похвалила бабушка.— Теперь можно начинать.

И они начали.

Перво-наперво бабушка отправила Любашу в





полутёмный амбарчик набрать из мешка в кастрюлю молодой картошки.

Сама бабушка сходилa к колодцу и принесла полное ведро воды.

Потом они вынесли кастрюлю с картошкой на лужайку, бабушка плеснула в неё из ведра, нашла в дровах палку и давай этой палкой картошку крутить. Покрутила, покрутила, грязную воду слила, добавила чистой и опять принялась крутить.

Бурая картошка стала сначала светло-розовой, потом белой, а когда начали выбирать картофельные глазки, то и Любаша от бабушки не отставала.

Бабушка ковырнёт ножиком мокрую картошину — и Любаша ковырнёт.

Бабушка кинет картошину в другую, в чистую кастрюлю — и Любаша кинет.

Картошина за картошиной — шлёп да шлёп! — падали в воду, вода из кастрюли брызгала на стол и протекала в широкие щели столешницы. А там, под столом, пушились тёплые шары одуванчиков. Они щекотали Любашины пятки, над головой шеле-



стели рябины, и к Любаше опять пришло очень ласковое настроение. Она сказала:

— Ох, бабушка, бабушка, как хорошо, что ты взяла меня в поле. Спасибо тебе, бабушка.

Бабушка вся так и засветилась, склонила голову набок:

— Я сама в поле-то ездить люблю. Мне самой тут славно. Сижу вот рядом с тобой, а на душе будто птички заливаются... Была бы помоложе, запела бы.

— А ты, бабушка, и теперь спой.

— И спою...

— Ну и спой!

И бабушка улыбнулась и вдруг тонким-тонким дрожащим голосом запела:

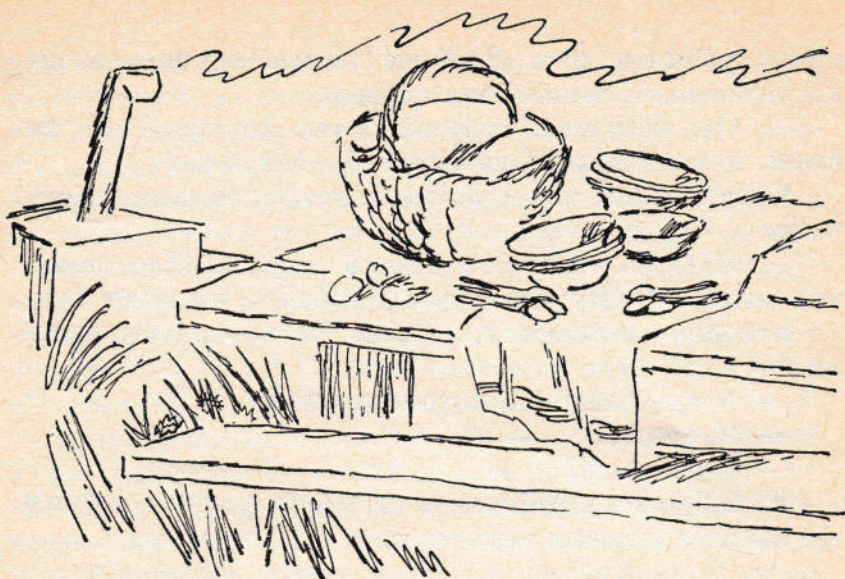
Ехал Ваня с я-яромки  
Да заехал в яблоньки.  
Соловей, соловей во саду,  
Канареечка во зелёном —  
Тёх-тере-рёх!  
Яблоньки садо-овые,  
А груши медо-овые.  
Соловей, соловей во саду,  
Канареечка во зелёном —  
Тёх-тере-рёх!

— Ой, бабушка! — засмеялась Любаша. — Какие песенки ты знаешь, я и не думала.

— Мало ли чего ты не думала. Ты думала, бабушка-то всегда старая была... Вот погоди, придут с поля комбайнеры, так здесь и не то будет. Комбайнеры — страсть весёлые! Я для них сальца домашнего привезла. Сальце порежем, на сковородке растопим, а как наши мужички явятся, так мы им сразу на стол горячую картошку да эту сковородку со шкварками и выставим.

— А шкварки будут шипеть, — подхватила Любаша, — а комбайнеры будут горячую картошку ма-





кать и всё приговаривать: «Ай да вкуснота! Ай да Лизавета Марковна! Ай да Любовь Николаевна!»

— Хвастё-ёна... — засмеялась бабушка. — Давай-ка бери ведро, чистой воды принесём. Чистая вода кончилась.

Бабушка подняла кастрюлю с картошкой, понесла сливать, а Любаша подхватила пустое ведро и, бренча на всю лужайку, припустилась к колодцу, не дожидаясь бабушки.

Обросший лопухами сруб был невысокий, с откидной западнёй. На столбах над ним навис толстый деревянный ворот с цепью, с железной рукояткой. Любаша встала на цыпочки, заглянула в колодец. Там было холодно, пахло грибами и плесенью, а в далёкой воде шевельнулся кто-то тёмный с рожками.

Любаша отпрянула, но тут же и поняла, что это она сама там в колодце отразилась, а кривые рожки — её собственные косички.

— Ау! — крикнула громко Любаша в колодец, и оттуда ответило эхо густым-прегустым, словно у Ивана Романыча, басом:

«Бу-у...»



— Эге-гей! — снова крикнула Любаша, и снизу отозвалось ещё басовитее:

«Эбе-бей-бей-бей!»

— Ты что делаешь! Упадёшь! — зашумела издали бабушка, и Любаша заторопилась, потянула к себе цепь, стала втискивать дужку ведра под стальную пластину защёлки.

Пластина больно прихватила палец, и Любаша вскрикнула:

— Ой!

Она отдёрнула руку, а ведро, не успев зацепиться, полетело вниз.

Цепь тоже полетела со звоном вниз. И толстый ворот закрутился, рукоять ворота завертелась, и вот внизу, в колодце, ухнула вода, и... всё стихло.

Бабушка — откуда только прыть взялась — подскочила к вороту, крутнула рукоять обратно.

Скрипучий ворот повернулся легко, цепь стала наматываться легко, потому что там внизу на цепи никакой тяжести теперь не было.

— Господи! — так и села бабушка на край колодца. — Господи! Любка! Ты же ведро утопила...

— Как? — сказала Любаша, и по спине у неё побежали, побежали холодные мурашки. — Как так? — повторила она, косички её поднялись торчком, а у бабушки побелели губы.

Бабушка едва выговаривала:

— Чем теперь воду-то доставать, а?

— Может, другим ведром? — прошептала Любаша. — Я сбегаю...

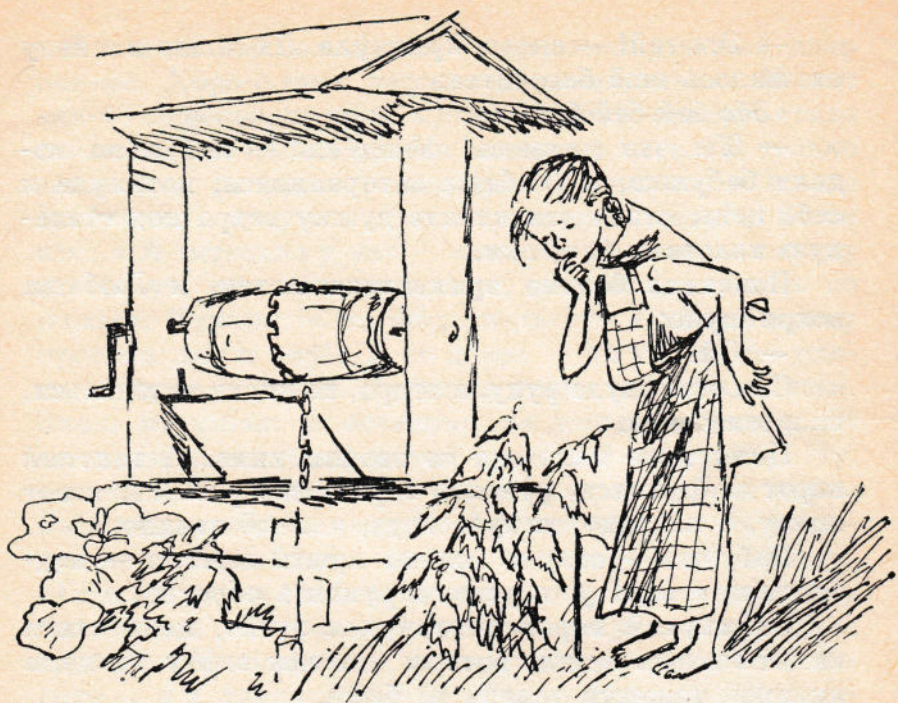
— Так нет второго... Нет! Одно было. Единственное.

И бабушка сорвалась с места, обежала вокруг колодца, заглянула в него, взялась за сердце и опять села.

— Что буде-ет! Что будет! Вот тебе и допелись, дохвастались... Скоро мужики придут, а вода где? А еда где?

— Кастру-улей достанем... — растерянно прогу-





дела Любаша совсем таким же голосом, как тот голос, что недавно гудел в колодце: — Там на кухне кастрю-уля есть.

— «Кастрю-уля»! — сердито передразнила бабушка. — Наказанье ты моё, вот кто! Неси, попробуем.

К колодцу бабушка Любашу больше не допустила. Охая и всё повторяя: «Господи, господи...», она сама продела сквозь обе кастрюльные ручки цепь, сама опустила кастрюлю в колодец. Наверх кастрюля вернулась с водой, но не полная. Неудобные ручки скользили по цепи, кастрюля съезжала набок, и воды в ней оказалось на донце.

— Вот так! — сказала бабушка. — Теперь будем таскать в час по чайной ложке. А время-то всё идёт, а мужики вот-вот явятся... Бери, нескладёна, неси, выливай в картошку. У меня ноженьки отнялись...



И Любаша всхлипнула, обняла мокрую, всю в печной копоти кастрюлю, понесла вверх по тропинке на кухню.

Сходить туда и обратно пришлось не единожды. Сарафан и фартук промокли, испачкались. Бабушка тоже вся уплескалась, отвязывая и привязывая несподручную кастрюлю, но вот наконец Любаша сказала робким голосом:

— Уже всё... В картошку хватит. Это в последний раз.

— В последний! — сердито переговорила бабушка. — Ещё намаемся, наревёмся до последнего... Мужики умыться попросят, да ещё обед и ужин надо варить.

Она забрала кастрюлю сама, пошла на кухню через лужайку. Любаша поплелась рядом. Бабушка с громким стуком, всё ещё сердясь, поставила кастрюлю на стол.

— Что теперь Ивану-то Романычу скажем? Он ведь не похвалит, нет.





А Любаша и сама знала, что не похвалит. За что ему теперь Любашу хвалить? Не за что.

Она села на скамейку, вздохнула, но бабушка сказала:

— Вздыхать нечего, за дело берись. Аханьем да воздыханием беды не исправить.

И Любаша принялась за дело, да только теперь у неё всё валилось из рук. Стала доставать из корзины соль, чуть не опрокинула банку. Стала вынимать спички из коробка — спички рассыпала.

— Сама управлюсь. Ладно... — махнула рукой на Любашу бабушка и сама растопила печку, сама поставила картошку на огонь, сама принялась резать на сковородку розовое, крепкое сало. А Любаша прислушивалась к гулу комбайнов, думала об одном:

«Вот придут комбайнеры, придёт Иван Романых, про всё узнает и сразу скажет: «Ну, ясно, никакая ты не Любовь Николаевна, как была чижом, так чижигом и осталась. У тебя только и уменя, что государственные вёдра в колодце топить!» Он прямо так и скажет — «государственные!» — как сказал про буханки Петеньке. И наверняка так же вот потом нахмурится и замолчит, и куда ей, Любаше, тогда деваться? Хоть пешком уходи обратно в посёлок...

Но в посёлке, наверное, всем известно, что Любаша уехала с бабушкой кормить комбайнеров. И конечно, кто-нибудь спросит: «Ну как? Накормила? Съездила?», и это будет совсем уж стыдобушка».

Она поглядела в ту сторону, куда убегала дорога. Там, за жарким полем, стоял хмурый лес. За лесом подымались холмы, на одном, на самом далёком, чуть виднелись крошечные домики посёлка, и от этого Любаше стало ещё тоскливей.

А шум комбайнеров нарастал. Они подходили к самой окoliце. Хорошо было слышно, как гремят перегретые на солнце моторы, и вдруг они смолкли, настала тишина, и бабушка сказала:

— Всё! Сейчас придут комбайнеры.



Сердце у Любаши оборвалось, Любаша кинулась бежать.

— Куда ты? — закричала бабушка, да Любаша даже не оглянулась.

Она мчалась из всех сил. Длинный фартук распустился, мешал ей, она приступила его, чуть не упала, но лишь взмахнула руками и помчалась дальше.

Она бежала всё шибче к комбайнам, перелезла старую изгородь, а навстречу ей уже шагал Иван Романыч, за ним — комбайнеры, и даже Петенька-шофёр был тут.

Все пятеро улыбались Любаше ещё издали, но она подхватила фартук, зажмурилась, остановилась и, почти задыхаясь, крикнула:

— Я ведро утопила! Государственное! На кухне воды нет.

Иван Романыч улыбаться перестал. Комбайнеры улыбаться тоже перестали. А кудрявый Петенька испуганно спросил:

— Чё? И шамовки никакой нету?

Любаша хотела сказать, что «шамовка» есть, но только стояла, да комкала в руках фартук, да моргала мокрыми ресницами.

Иван Романыч оглянулся на комбайнеров, пожал плечами:

— Ничего не понимаю...

Комбайнеры тоже пожали плечами. Они все растерянной Любаше показались одинаковыми. Все — в кирзовых сапожищах, в пыльных брюках, в мокрых от пота майках. Плечи, руки обожжены солнцем. Только головы у них у каждого были накрыты по-разному. На одном татарская тюбетейка, на другом соломенная шляпа, на третьем ситцевая шапочка с целлофановым козырьком.

Они переглянулись, а Иван Романыч легонько повернул Любашу за плечо, подтолкнул обратно к изгороди.

— Ясно-понятно, что ничего не понятно. Кухня-то



вовсю дымит, работает. Пошли, разберёмся на месте.

Бригадир шагнул через изгородь. Любаша перелезла за ним, побежала следом. Фартук всё время спадал, она его подхватывала, и Иван Романыч шагал быстро, и комбайнеры шагали тоже очень быстро.

Из-под ног у них вылетали с сухим треском кузнечики. Комбайнеры шли прямо к рябинам, к бабушкиной кухне. А бабушка их увидела и, морщась от печного жара, засуетилась, подхватила тряпкой сковороду, понесла к столу.

Петенька потянул носом воздух:

— Ого! Шкворками пахнет.

— Не шкворками, а шкварками,— поправил Петеньку комбайнер в ситцевой шапочке. Поправил, сразу повеселел и гулко хлопнул здоровенной ладонью Петеньку по спине: — А ты боялся, шамовки нет... Как так нет, когда кухарит сама Лизавета Марковна?

Петенька дурашливо присел, растопырил руки и на полусогнутых ногах, гусем, пошёл к бабушке:

Лизавета Марковна,  
Миленкий дружок!  
Шкварок нам нажарила  
Целенький горшок!

Все засмеялись, и даже Любаша не то громко всхлипнула, не то засмеялась.

Бабушка схватила со стола полотенце, шлёпнула Петеньку по кудрявой голове, тот изобразил ужас, повалился на скамейку, замахал руками, ногами:

— Оё-ёй! Оё-ёй!

А бабушка всё нахлёстывала, всё приговаривала:

— Вот тебе, вот тебе... Вечно ты, Петенька, дуришь! Вечно у тебя шуточки! Какой горшок, когда сало на сковородке.

И было видно, что бабушка очень рада Петенькиной выходке, что шутка пришлась к месту, потому



что и сам Иван Романыч стоял да тоже посмеивался.

Потом он кивнул на Любашу, негромко спросил бабушку:

— Что хоть стряслось-то?

Бабушка сразу принялась вытирать кухонным полотенцем совершенно чистый стол:

— Дак ведро утопили... Воду кастрюлей таскали... Вон той вот. Прямо смех и грех.

Она подняла голову и виноватыми, жалостными глазами тоже повела на Любашу:

— Ты уж, Иван, прости её. Не ругай.

А Иван Романыч слушал, слушал бабушку, всё усмехался да усмехался помаленьку и вдруг сел на скамью рядом с Петенькой и захохотал во всю мочь.

— Ну и ну! Только-то! А я думал невесть что...

Он утёр ладонью мокрые от смеха глаза, поманил к себе Любашу:

— Иди-ка сюда, паникёрша, иди. Значит, расстроилась? Очень?

Любаша опустила голову, а он улыбнулся опять:

— Сейчас мы это дело поправим.

Он весело глянул на комбайнеров, на всех троих:

— Кто у нас по таким делам мастак? Ведро надо вытащить.

— Так пара пустяков! — сказал комбайнер в тюбетейке.

— Так надо жердь подлинней да гвоздь поострей! — сказал комбайнер в шляпе.

А комбайнер в ситцевой шапочке ничего не сказал. Он повернулся, побежал к изгороди, снял длинную жердь, а его товарищи нашли у печки топор, со скрипом выдрали из косяка амбарчика старый гвоздь, и вот комбайнер в шапочке — раз, два! — вогнал гвоздь топором в жердь и помчался с ней к колодцу.

Он управился с длинной жердью, как с карандашиком. Опустил её в колодец, пошарил, закричал:

— Есть!

А потом, звонко шлёпая ладонями, стал жердь



перехватывать, подымать и вот отбросил её, и в руке у него засверкало мокрое ведро, и с ведра полилась вода, потому что оно было полнѣхонько!

Легко, не расплескав ни капли, комбайнер донёс ведро до Любаши, поставил на траву:

— Принимай, да больше на колодец не ходи — ты ещё совсем чижик.

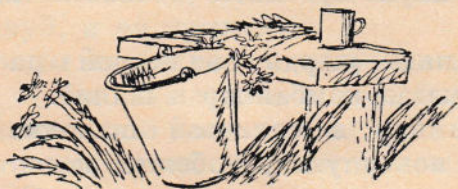
— Нет! Ничего не чижик! — вдруг очень громко сказал Иван Романыч. — Ничего не чижик! Она — работница, заботливый человек. Она воду-то для нас кастрюлей таскала, одного страху сколько натерпелась, другой бы на её месте прятаться побежал, а она — нет. Она — к нам! Она посчитала: «Я сама за всё в ответе и прятаться не хочу!»

И тут Иван Романыч взял со стула кружку, зачерпнул воды, протянул Любаше и, нисколько даже не усмехаясь, попросил:

— Слей мне, пожалуйста, на руки, Любовь Николаевна!

Шофёры и комбайнеры тоже подошли, тоже подставили свои ладони, и каждый из них тоже сказал:

— И мне, Любовь Николаевна, и мне...





## СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТЛЯЧОК НА ЛАДОШКЕ . . . . .	3
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА . . . . .	22

Для младшего школьного возраста

*Лев Иванович Кузьмин*

**ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА**

*Рассказы*

ИБ № 9498

Ответственный редактор *Л. Г. Тихомирова*. Художественный редактор *И. Г. Найденова*. Технический редактор *Т. П. Тимошина*. Корректор *Е. В. Куликова*. Сдано в набор 12.09.86. Подписано к печати 10.12.86. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. книжно-журн. № 2. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 3. Усл. кр.-отт. 3,5. Уч.-изд. л. 2,19. Тираж 900 000 экз. Заказ № 4221. Цена 10 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Суховский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».



**Кузьмин Л. И.**  
К89 Любовь Николаевна: Рассказы /Рис. Н. Горячёвой.— Переизд.— М.: Дет. лит., 1987.— 47 с., ил.— (Книга за книгой).

10 коп.

Два рассказа о деревенских ребятах, о том, как они помогают взрослым дома и в поле.

К  $\frac{4803010102-059}{M101(03)87}$  269-87

P2



**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

В серии «Книга за книгой» в 1987 году  
выходят следующие книги:

**Воскресенская З. КРАСНЫЙ БАНТ.**

*Рассказы о детях,  
которые помогли отцам и братьям  
бороться за свободу в годы первой русской революции.*

**Коршунов М. ДОМ В ЧЕРЕМУШКАХ.**

*Повесть о том, как провели лето в деревне  
два городских человека — взрослый и мальчик,  
как наладилась у них дружба  
и самостоятельная трудовая жизнь.*

**Фадеев А. МЕТЕЛИЦА.**

*Отрывок из романа «Разгром»  
о событиях гражданской войны  
на Дальнем Востоке.*